

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Мальчик с черепом	11
ГЛАВА ВТОРАЯ. Урок анатомии	62
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Парк-авеню	79
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Леденец с морфином	131

ЧАСТЬ II

ГЛАВА ПЯТАЯ. Бадр аль-Дин	225
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Ветер, песок и звезды	310

ЧАСТЬ III

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Магазин в магазине	401
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Магазин в магазине (<i>продолжение</i>)	436

ЧАСТЬ IV

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. БЫТЬ МОЖЕТ ВСЁ 461

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ИДИОТ 538

ЧАСТЬ V

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ФИОЛЕТОВАЯ КОРОВА 689

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. МЕСТО ВСТРЕЧИ 747

БЛАГОДАРНОСТИ 829

МАМЕ,

КЛОДУ

ЧАСТЬ I

Абсурд не освобождает, он сковывает.

АЛЬБЕР КАМЮ

Мальчик с черепом

1. Тогда в Амстердаме мне впервые за много лет приснилась мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, боясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера, и сердце у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков: звяканья лифта, дребезжания тележки с бутылочками для минибара, и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейтберг и с башни Вестерторен, звучал мрачным лязганьем, возвещая, будто в сказке, о грядущей гибели. Днем я сидел на кровати, изо всех сил пытаясь разобрать хоть что-то в голландских новостях по телевизору (бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова), а затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на плечи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал: я уезжал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, не спасали от холода даже в помещении.

За окном все было исполнено движения и смеха. Было Рождество, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками, гроыхали по булыжным мостовым велосипеды с привязанными к багажникам елками, которые везли румяные *damen en heren*¹ в развевающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру любительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе.

Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая водка из дьюти-фри. За эти беспокойные дни, проведенные взаперти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник камеры. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама

1 Дамы и господа (нидерл.).

унылая, сквозняковая бессолнечная красота номера остро отдавала Северной Европой — миниатюрная модель Нидерландов, где беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой роскошью, завезенной сюда с Востока торговыми судами. Непростительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных картинок маслом, висевших над бюро: на одной крестьяне катались возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду, на другой беспокойное зимнее море подбрасывало лодку — картинки для декора, ничего особенного, но я изучал их так, будто в них был зашифрован ключ к самым сокровенным тайнам старых фламандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчовыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок.

Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускался вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто бы и не замечали американца из двадцать седьмого, который днем не высовывался из номера, а я все убеждал себя, что ночной портье (темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой оправе) в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается избежать неприятностей.

В “Геральд Трибьюн” о передряге, в которую я попал, не было ни слова, зато эта история была в каждой голландской газете: плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали перед глазами, но оставались за пределами моего понимания. *Oporgeloste moord. Onbekende*¹. Я поднялся наверх, залез обратно в кровать (не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно) и разложил газеты по покрывалу: фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления, невозможно было разобрать даже подписи к фото, и, хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию.

Комната. Батарея. *Een Amerikaan met een strafblad*². Оливково-зеленая вода канала.

1 Нераскрытое убийство. Неизвестный (нидерл.).

2 Ранее судимый американец (нидерл.).

Из-за того что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть (я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду), большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, наступала после полудня.

То и дело — под хруст разбросанных вокруг газет — я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование: залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по которым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею.

Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток, но в ту, последнюю, в самую ужасную ночь я увидел во сне маму: быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в магазине Хоби — если совсем точно, в каком-то призрачном пространстве сна, похожем на схематичный набросок магазина, — когда она внезапно возникла позади меня и я увидел ее отражение в зеркале. При виде нее я оцепенел от счастья, это была она, до самой крошечной черточки, до россыпи веснушек; она мне улыбалась, она стала еще красивее, но не старше — черные волосы, забавно вывернутые кверху уголки рта — будто и не сон вовсе, а сущность, которая заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей инаковостью. И, хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, что обернуться и взглянуть на нее — значит нарушить все законы ее мира и моего, только так она могла прийти ко мне, и на долгое мгновение наши взгляды встретились в зеркале, но едва мне показалось, что она вот-вот заговорит — со смесью удивления, любви, отчаяния, — как между нами за клубился дым и я проснулся.

2. Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком, и, хотя в том, что произошло со мной после этого, виноват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, который мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более людную, более нормальную жизнь.

Ее смерть стала разделительной чертой: До и После. Спустя столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так, как она, меня больше никто не любил.

В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театральный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его куда ярче обычного: помню, как мы с ней ужинали в итальянском ресторанчике в Гринич-Виллидж за пару недель до ее смерти и как она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свечами, как на темном потолке дрожал слабый круг света и как потом торт поставили сиять в центре семейного торжества, как он расцветил лицо старушки и вокруг засверкали улыбки, а официанты отошли назад, сложив руки за спины — самый обычный праздничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуться в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не запомнил вовсе, не умри она вскоре, но после ее смерти я снова и снова вспоминал его и, наверное, буду вспоминать всю жизнь: кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного счастья, которое я потерял вместе с ней.

И еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, но все-таки: она была красивой. Когда она только-только перебралась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настолько, чтобы добиться успеха, и если способности у нее и были, то на пленке этого не отражалось.

И все же она была целиком, с ног до головы диковинкой. Я не встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, белая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое смешение дикарства и “Кельтских сумерек”¹, что люди иногда принимали ее за исландку. На самом деле же она была наполовину ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка на границе с Оклахомой; она любила смешить меня, говоря про себя “оки-доки”², хотя вся была лощеная, нервная, тонкая, будто скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожалению, получалась слишком резкой и безжалостной — веснушки спрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, будто у благородного мужа из “Повести о Гэндзи”, — и за кадром

1 “Кельтские сумерки” (*The Celtic Twilight*, 1893), собрание статей У.Б. Йейтса об ирландском фольклоре.

2 Оки (*okie*) — прозвище жителей Оклахомы, часто с негативным оттенком, от обозначения штата ОК.

оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, которую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере; в ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой, ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот вспорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный, я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился.

Я виноват в ее смерти. Люди всегда — чуточку чересчур поспешно — принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же, *еще совсем пацан, да кто же знал, ужасная случайность, вот ведь невезуха, да с кем хочешь такое могло случиться*, — да, чистая правда, и я не верю ни одному их слову.

Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, четырнадцать лет назад. (Даже моя рука отдергивается от этой даты, нужно сделать усилие, чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обычный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем.)

Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками восьмого школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да ничего, ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра кажется мне яснее настоящего — до самого промозглого, сырого прикосновения воздуха. Ночью лил дождь — ужасный ливень, магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, и мы с ней стояли на чавкающем коврик у парадного, пока Золотко — любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился по Пятьдесят седьмой, размахивая рукой и высвистывая такси.

Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дождем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжаясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба, а внизу, на улице, под выхлопными газами воздух был влажным и нежным, как весна.